

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая О ВСТРЕЧЕ

Некролог	7
Свежий воздух	20
Не до борща	40
Архимандрит Киприан все объяснил	45
Лестница в небеса	49
Не забудьте полотенце!	55
Полотенце пригодилося	63
Уста к уста	64
Еще немного поговорим	73
Торжество православия	83

Часть вторая СЛАДОСТНЫЙ НОВЫЙ СТИЛЬ

Дневник	100
Правило веры	115
Петра	119
Накануне Россия Успенья	131
Святая земля	137
Несвидетель	147
Старец святой	151

Не старец святой	164
Бесконечный разговор (1)	173

Часть третья ДВОЙНОЕ ДНО

Первый звонок	177
Дальше в лес	185
Гон	193
Приехали	200
Всенощные бдения	207
Возвращение	220

Часть четвертая ПРИЕХАЛИ

Бесконечный разговор (2)	228
Бесконечный разговор (3)	244
<i>Liboff</i>	251
Гости	258
Снова Петра	266
Велосипед	271
Приключенья	285
Конец	295

ЭПИЛОГ

Панихида	307
----------------	-----

*...О, кто бы направил
К золотым твоим берегам скитальческий парус!*

Гёльдерлин. К Эфиру

Часть первая

О ВСТРЕЧЕ

НЕКРОЛОГ

Она успевает. Втискивается в ближайший вагон, он забит, пятница, вечер, последние предзимние работы, закутанный, толстый от одежды народ. Духота. Она пробирается по вагонам дальше, вперед, туда, где людей наверняка меньше и есть места. Проходит сквозь густые дымные облачка тамбуров, сквозь скопившихся в них мужиков, запах пота и перегара. Вот он, пустой лакированный край скамейки, она садится, сумку бросает в ноги. Электричка трогается. За окном плывут хрущевки, облупленные железки детских площадок, гнутые столбы от качелей, качелей давно нет. Чахлые деревца, розовый квадрат одеяла сушится на балконе — единственная яркая точка в студне вечера; дома исчезают, начинаются пустыри, тянется бетонный забор с надписью синей краской: «Светка, я тебя люблю». Лес. В темной, зрелой зелени мелькают желтые прядки.

Ее подташнивает, она плотно закрывает глаза, но так еще хуже. Нащупывает в кармане пачку, страшно хочется покурить, но тогда наверняка займут ее место. А ехать еще долго. Она остается сидеть. В ногах черная сумка, молния расстегнута, внутри — батон хлеба в целлофановом пакете, плоская банка шпрот, «Литературная газета», купленная по пути на вокзал. Она вынимает газету, раскрывает, заметно вздрагивает. Со второй страницы на нее смотрит тот, кого они вчера хоронили. Фотография, краткий некролог, рядом — большая статья. Читать она не может, закрывается газетой, газета слегка дрожит. Поезд набирает скорость, из оконных щелей пробивается ветерок, уже несколько станций позади, наконец, она поднимает голову, смотрит в его лицо, в кроткие глаза за стеклами очков, в мелко набранный текст.

«Человеческая гениальность как бы одухотворяла и поясняла его гениальность как ученого», — читает она первую фразу и ничего не понимает. Перечитывает еще и еще, наконец пробивается и сквозь «как бы», и сквозь «гениальность как». Читает дальше. «Свободное владение несколькими древними языками, включая арамейский и древнеегипетский, удивительная способность к проникновению в давно исчезнувшие культурные пространства и их реконструкции, кажется, были бы невозможны без его личной убежденности, что ни культура, ни язык, ни люди не бывают мертвы, но лишь забыты. “Надолго

забыты? — часто вопрошал он в одном из своих бесчисленных «публичных» выступлений (более напоминавших не обращение к слушавшим, но сосредоточенное собеседование с самим собой, на таинство которого допускались студенты). — Всего лишь на время. Кем забыты? Всего лишь нами”. Напрашивалось: нами, а не?... Довершить ответ предоставлялось самой публике. Он же в качестве последнего доказательства и подсказки оставил образцовые художественные переводы античных авторов, неизменно отмеченные редкой естественностью ума и вкуса. Мысль, чуждая претенциозности, вкус, избегающий стилизации, — так просто».

Она скользит взглядом вниз — под текстом подпись, вот это да! Ольга Грунина! Да это же Грунис, которая вела у них латынь... Просклоняйте, переводите, вы занимаете чужое место, *grex, gregis, gregi, gregem, grege** — так и стоит в ушах ее металлический голос. Для нее они — как раз «стадо», тупые первокурсники, не умеющие распознать третье склонение мужского рода, путающие герундив с герундием. Но тут, видно, пробило даже Груниса. «Нами, а не...» Еще недавно такое не напечатали б ни за что.

Впервые Аня увидела его полтора года назад. Она была еще школьницей и ходила в университет на подготовительные курсы филфака; на филфак

* Склонение существительного «стадо» (*лат.*), в латинском языке относящегося к мужскому роду.

она собиралась точно, не решила только, на какое отделение поступать. Толкать стеклянную дверь Первого гума, стягивать в гардеробе куртку, сжимать в кулаке пластмассовый номерок, подниматься на лифте на девятый этаж было необыкновенно приятно: каждый раз в этих стенах ее охватывало ощущение приобщенности — к самому важному, почти святому. В тот день занятия неожиданно отменили: заболел преподаватель. Аня тихо шла по коридору, никуда не торопясь, мимо сновали студенты, они уже учились, они поступили, но, вместо того чтобы смеяться от счастья, были какие-то бледные, нервные, что-то озабоченно друг другу говорили: опоздаем, курсач, не поставит... Она остановилась около большого стенда. Два ватмановских листа с расписаниями: 1-й курс русского отделения, 2-й курс романо-германского отделения. Историческая грамматика, история лингвистических учений, датский язык! Номера аудиторий, фамилии преподавателей, все учено и чинно, как вдруг рядом — пришпиленный булавкой — голубой листок: «Лекции по античной литературе в связи с недостатком помещения переносятся из ауд. 110 в ауд. 7». «В связи с недостатком помещения» — это как? Аня улыбнулась. На бумажке стояли число — сегодняшнее и время — лекция началась полчаса назад. Она спустилась на первый этаж, в седьмую аудиторию. Дверь была чуть приоткрыта.

Аня осторожно глянула в щелку: огромная аудитория действительно оказалась битком — «недостаток помещения» наблюдался и здесь! Многие сидели на ступеньках. Над деревянной кафедрой возвышался человек — седой, сутулый, в сером обвисшем костюме, в очках с толстенькими стеклами. Стояла абсолютная, только не мертвая — живая тишина. Человек говорил — протяжно, довольно высоким, но приятным и мягким голосом. Ни на кого не смотрел. Говорил, точно бы пробиваясь сквозь легчайшую дрему, отвлекаясь от другого, не менее важного дела. Аня напряглась, вслушалась: слова плыли медленно, плавно и казались завораживающе красивыми, но ничего было не понять. Как будто он говорил на иностранном языке; только щепочки, только осколки — «император», «Рим», «первородство», «царство», «вульгарная латынь»... Она стояла и слушала, как слушают музыку. И вдруг, еще через несколько минут, внезапно разобрала смысл: «...В интонациях его чудной серьезности, не разрушенной опытом, неизменно звучит “мальчишеский”, юношеский тембр. На фоне его поэзии фривольность Овидия кажется перерезанной. Можно сказать, он относился к особой породе людей — не вечных юношей, а вечных отроков... И действительно, Гёльдерлин, Гюго, Шиллер держали его за своего...» Аня встрепенулась: кого, кого «его»? Тут же прозвучал и ответ.

«Захватывающая тайна и сладкая жуть “Энеиды” очаровывали, манили их за собой, притягивали как магнит. Вергилий стал для своих современников...»

Она начала терять сознание. Словно чьи-то руки вдруг подняли и понесли — к сладкой жути, вечным отрокам, к этому сутулому сонному человеку, в каждом слове которого — чудо и жар. Что это? Почему то, что он говорит, так прекрасно и так трогает? Она отпрянула от двери, слушать дальше было невозможно! Быстрой тенью в сознании промелькнуло совсем другое лицо: чем-то этот лектор неуловимо напомнил ей давно умершего деда. Дед всю жизнь проработал водителем на заводе, а в войну возил снаряды, дед, конечно, был совсем из другого мира, но тоже как-то таинственно связывал ее с прошлым, с тем, чего не коснешься рукой. Аня спустилась в гардероб, руки в рукава, шарф вокруг шеи, шапку в карман — вылетела на улицу, толкнув плечом прозрачную дверь.

Зима кончилась, снега почти не осталось, только редкие бугорки под кустами да голая, темная, чуть смущенная земля. Стояло любимое ее время — апрель, она вдохнула сырой, пропитанный солнцем воздух и тут же ощутила тоску. По этому странно-му лектору, по Вергилию, Гёльдерлину, Шиллеру, кому-то еще, о ком он говорил, а она не запомнила.

И поехала не домой — в районную библиотеку, где бывала часто, знала всех библиотечарш в лицо, — попросила стихи Гёльдерлина и «Энеиду» Вергилия,

из абонементу ее отправили на второй этаж, в читальный зал. Там ей выдали Вергилия в черной бархатистой обложке и какую-то рассыпающуюся хрестоматию по европейской поэзии с тремя стихотворениями Гёльдерлина: о Греции, о весне, об Эфире. С них она и начала.

Снег слетает с ветвей подобно гряде лохмотьев,
Прыгают рыбы вверх над яркой гладью потока...

А что, совсем неплохо! Даже весело. И про ветер, который веет «сквозь поры трепетной жизни», ей тоже понравилось: в этих стихах было так много красоты и действительно юношеской мечтательности. С Вергилием дело пошло хуже — разве что энергию его строк она уловила, но проникнуть в их смысл было трудно: незнакомые имена, боги, люди, намеки на неведомые ей обстоятельства — не лазить же за каждым словом в комментарий! В Вергилии, в отличие от Гёльдерлина, Аня не разглядела даже намека на отрочество — ничего из того, о чем говорил сутулый протяжный лектор. Но может быть, тексты — просто оболочка, черно-белая фотография, и нужно, чтобы именно этот человек лично представил им тебя, привел, передал из рук в руки?

Вскоре она узнала имя лектора — Журавский. Профессор с классического отделения, преподающий классикам и ромгерму античную литературу, светило и всеобщая любовь. Попасть на другие его

лекции она даже не пыталась. Все было ясно и так: она поступит в университет, просто чтобы учиться у Журавского. На классику или ромгерм. Но от классики их школьный учитель по литературе, веселый и по-своему великий Эпл, прозванный так за ярко-красные и правда похожие на яблоки щеки, удивительно контрастировавшие с его уже почтенным возрастом (ему было пятьдесят лет тогда, но им казалось — старик!), быстро ее отговорил: «Праздник жизни, молодости годы я сгубил под тяжестью труда? Хочешь дни и ночи учить латынь и греческий?» И Аня дрогнула, молодых лет стало вдруг действительно жаль, она остановилась на ромгерме, немецком, разумеется, отделении — немецкий она учила со второго класса в спецшколе. Эпл помогал как мог: нашел репетитора по немецкому, строгую и четкую Ингу Генриховну, давал книжки из собственной библиотеки, правил ее внеурочные сочинения, а уже в июне, перед самыми экзаменами, занимался с ней одной каждый день — бесплатно, разумеется. До этого подобной чести удостаивалась, кажется, только Петра...

Аня поступила, провела на даче чудесный август и вернулась в Москву к сентябрю — раз в неделю Журавский читал им лекцию. Давнее чудо повторялось неизменно. Ощущение, что прикасаешься к Другому, несло прочь из обветшавшей аудитории, от исписанных столов и глупой зеленой доски, к ним — вечно бушующему морю, нежным курчавым грекам,

у которых, по выражению Катона, слова стекали с губ, к меднолицым римлянам, говорящим прямо и от сердца, к Гете, Brentано, Шекспиру, Данте, которых Журавский тоже постоянно обильно цитировал, — на пир к всеблагим.

Выяснилось, что профёссора в универе не просто любили, уважали: его обожали — с затаенным ужасом и восторгом, именно как вестника иного мира. Даже начальство терпело его странности и прощало ему все — так прощают юродивых.

С каких заоблачных высей он спустился, из каких приплыл к ним земель? Толком ничего не было известно. Говорили, что мать его приходилась близкой родственницей Иннокентию Анненскому, отец был кадровым офицером, сам Журавский признался однажды, что дед и бабка его жили еще при крепостном праве. Иногда в лекциях его проскальзывали упоминания о заседаниях каких-то эфемерных обществ любителей древностей, он цитировал всеми, кроме него, навеки забытые, читавшиеся там доклады... Случайно выяснилось, что и сам Журавский когда-то писал стихи, — дотошные девочки-русистки наткнулись однажды в ветхом журнальчике на два его стихотворения. «В золотой дубраве Аполлона / Сквозит сиреневая мгла...» Найденные стихотворения распространялись среди студентов в списках. Поговаривали и о позднем большом «дальневосточном» цикле: как будто профессору довелось побывать и в тех далеких краях, но,

возможно, то были лишь пустые слухи, домыслы, неважные, не-, как любили у них выражаться, релевантные, потому что главным в Журавском было другое. Облик его дышал немислимой, не знакомой ни по кому другому свободой.

Зимой в университете плохо топили; он входил в аудиторию в потертой ушанке с опущенными ушами, в черном пальто. И читал лекцию одетым, все так же знакомо сутулясь, опустив глаза, без бумаг, цитируя на память непостижимо длинные куски из Гесиода, Пиндара, Плутарха, Катулла, иногда спохватываясь и переводя, иногда просто комментируя. Кажется, он не понимал, что первокурсники еще просто не в состоянии воспринять на слух греческий и латынь. В середине лекции Журавский мог вдруг прервать себя и пуститься в длинные застенчивые объяснения. Беда в том, что со вчерашнего вечера его бьет озноб, надежды поправиться по дороге на лекцию не оправдались, если только позволительно говорить о несбыточности каких бы то ни было надежд, а из окна сильно дует, он уже пытался отодвинуться, но лишь напрасно потратил силы, озноб усиливается, и он просит почтеннейших слушателей простить и отпустить его душу на покаяние. Все это тем же лекционным, протяжным тоном, обстоятельно, без всякого кокетства, но с неуловимой, едва угадываемой слушателями тихой улыбкой. Душу отпускали на покаяние, и неторопливо, в полной тишине он шел.